



Год издания I

5 ДЕКАБРЯ 1946

№ 17

Вл. Гриненко.

Бездонье

Дорогой редактор!

Спасибо за письмо и привет.

Ваша просьба о материале мучительно вернула меня к печальным словам и мотиву известного старого романса:

Вы просите песен,—
Их нет у меня!....

.....
Так грустно, так пусто живется,
.....
Что с песнями кончить пора.

Почти весь день я пробродил с этим настроением, вспоминая много-много из прошлого, где была полная, живая жизнь радостей и печалей, переплетенных мудростью, жизнью, благословенная памятью...

К вечеру вспомнил о Вашей просьбе. Вокруг усиленно ворчала нищенская лагерная суeta...

Я развернул старую выцветшую папку (когда то синего цвета), и взял одну из рукописей с датами двадцатых годов, которая была потоньше.

Воспоминанья прежних дней!...
Преданья старины глубокой!...

Да-да... Жизнь теперь кувыркается все стремительней, все короче остановки и приостановки, а что было тридцать лет всего назад,— уже старина!..

Читая рукопись, невольно стал делать пометки, увлекся, и незаметно, к полуночи, закончил этот рассказ молодого „либерала“ Семичевского. Уже в подправленном виде перечитал всю вещь...

Семичевский был в какой-то компании сверстников, и, по их просьбе, вспоминал уголок эпохи, в которой принимал участие.

«Был девятьсот четырнадцатый год, Август.

Грохотали первые наши победные бои на полях Галиции.

Днем по летнему палило солнце, и мы задыхались в собственном поту, в пыли и нервном напряжении рядом со смертью. Зато какой восторг, какая радость жизни обурежала людей в коротких перерывах боевых трудов! И когда опускалась свежая, даже холодная ночь, то сон на голой земле бывал полон сладостных видений...

Переступив границу обширного и просторного государства Российского, мы, помню, сразу почувствовали тесноту Европы, и всматривались жадно в каждый доступный нам уголок ее жизни. Тут было не только любопытство наивных и благодушных россиян, попавших «за границу», но и кое-что другое: мы все, до последнего русского мужика, теперь одетого в солдатскую шинель, до того были напичканы чудесами и «светлой жизнью» заграницы, что всюду и во всем навастри-

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Калмыцкого института общественных наук АН СССР

47325-
19006/

вались для сравнений. И, конечно, не в пользу российской жизни. Ведь враги России над нами работали десятки лет!

Железные оцинкованные крыши в жидких и бедных деревнях и селах, тесные маленькие городки, как то все на один манер, обилие хороших дорог, аккуратные маленькие пашни и крошечные луга, всюду помпы вместо наших колодцев с высокими скрипучими журавлями, обыкновенные конные грабли на поле, и даже подбитая бронзовая австрийская пушка,— все казалось нам лучше, все рисовало здешнюю жизнь несравненно лучше нашей. И пристальное любопытство сменялось горькой улыбкой сарказма.

— А мы... освобождать пришли! То же!..

— Да, брат,— *зараница!*

— Небось, и люди живут как люди, не то што...

— Само собой! Потому, значит—слабодра, культура всюду. Никаких помешшывков али, там, господ нету, каждый сам себе *пан!*

— Да, они так и зовут все друг дружку: *пан да пан.*

Один только старый фельдфебель второй роты Говорунов молча посматривал да подкручивал усы. Порой он не выдерживал солдатской «критики» из рядов, и покрикивал:

— А ну-ка не галдеть! Раскудахтались... Речку не перешли, а уж и лапти сушить. Пошехонцы...

Офицеры добродушно подсмеивались над ним:

— Молчит Говорунов, а уж если заговорит, то спуску не даст!

— Он у нас *ученый!*... Даже роман Евтушевского читал... тут шутки в сторону*).

Однако прав оказался Говорунов...

Первые месяцы войны я был конным ординарцем в полковой команде для связи. После сражений в районе Злочева, однажды я ехал переменным аллюром в штаб дивизии. С обеих сторон шоссе еще два дня назад кипел бой. В безоблачном жарком небе была торжественная тишина. Кругом в полях—ни души. Невидимые жаворонки проливали на землю свои святые песни любви, и было больно, было стыдно за человека: всюду чернели задымленные воронки, свежие могилы, а порой попадался почерневший, вздувшийся на солнышке труп; придорожные канавы, обращенные во временные окопы, были завалены изломанными повозками, окровавленными посылками, каким-то тряпьем, патронными ящиками, ранцами из рыжей телячьей шкуры, и все это издавало

едва уловимый, но острый смрад,—особый запах полей битвы.

Я ехал шагом. Приближалась цель моей поездки. Версты за две от села, у самой дороги, одиноко стояла типичная австрийская корчма. Она уцелела; лишь угол серой железной крыши был взерошен снарядом и оскалился стропилами. К моему удивлению, на этом поле битвы, на крыльце пустынной корчмы уже шевелилась какая-то мужская фигура в длинном пальто, явно штатская—до корчмы осталось не больше полуверсты. С боковой дороги въехала на шоссе крестьянская телега, прямо на корчму, а за телегой, шагах в ста, из перелеска, показалась пара всадников, с красными лампасами.

Крестьянин остановил лошадь, и суетливо скатился с воза, снимая большую соломенную шляпу; он, полусогнувшись от частых поклонов, быстро подошел к фигуре на крыльце, и, как мне показалось, что-то сунул ей в руку, низко нагнувшись, а затем проговорил что-то на ухо, прильнув к плечу. Затем крестьянин как-то бочком сполз с крыльца и попятился к телеге, все еще без шляпы.

Вдруг казаки рванулись, и вихрем понесли к корчме. Фигура на крыльце мгновенно скрылась. Крепко хлопнула дверь. Крестьянин вскочил было на воз и задергал вожжами, но казаки были уже тут. Кубарем спешили на крыльцо, что-то крикнули мужику, и застучали прикладами в дверь; затем дружно нажали плечами, и скрылись в доме.

„Грабят“ — подумал я, и пустил повод. Но в ту же минуту казаки показались на крыльце. Один кинулся к мужику, другой встряхивал за воротник и толкал по ступенькам какого-то мужчину в длинном платье и что-то приговаривал.

Подскакав, я окликнул:

— Эй, станица, чего делаешь?

Донцы на секунду приостановились. Перед ними был такой же нижний чин.

— А ты што? спрос?

И к мужику:

— Снимай штаны! Живо, пан, снимай штаны!

В цепких руках казака трепетал бледный, бородатый полуседой еврей. Повидому он ничего не понимал, но непонятный страх еще страшнее.

На нем был длинный лапсердак, разорванный у ворота, руки расцарапаны и дрожали, как в лихорадке. Я крикнул угрожающе:

— Слышишь? Тот-час же пусти его!

Но было поздно. Второй казак заголил зад мужика, лицо еврея оказалось тут же.

— Целуй! Еще раз! Живо...

*) распространённые учебники арифметики и задачки Евтушевского.

— Вон этак-то лучше! — заулыбался казак и выпустил воротник корчмаря. Он стоял с каменным лицом, и окаменевшими глазами глядел вдаль, в небо. Его борода поникла, и опустились недвижно руки. Приоткрылся рот.

Мужик быстро вскочил в телегу, наскоро приподнял шляпу, бросил нам всем обычное здесь „слава Иисусу“, и загрелел трючь.

Казак сняли фуражки, отерли лбы и вскочили в седла с веселыми улыбочками. Я поехал рядом.

Я ничего не понял. Станичники это уловили.

— Дык, понимаешь, как дело-то... Мы уж который раз нарываемся на энто наскудство. Вишь ты, у них каков обычай скверный: как помещик, как корчмарь али какой городской пан, так мужик должен ему, шапку низко снявши, руку да плечо целовать. А не поклонится, не поцелует— беды не оберется! Вить, почитай, вся земля тут не хрестьянская. Мужики здешние рассказывают. Мы им про Рассею толкуем, как у нас, деды, мол, наши барщину еще помнят, а отцы уж и забыли. Ручку благословляющую священника целуем, да и царя тож, не боле. Не верют!.. Вот мы их и учили. Чтoб верили!

Казак добродушно засмеялся. Его живое смуглое лицо с курчавой бородкой играло здоровьем и радостью жизни. Второй казак, рябоватый от оспы, с серьгой в ухе, раскурил измятую папиросу и вздохнул:

— Куда им... Мелкота!

Мы въезжали в село. Я оглянулся назад: корчма скрылась за ближайшим деревом у шоссе, и лишь сквозь его листву были видны ярко горевшие на склонившемся солнце оконные стекла.

В штабе дивизии я рассказал эту историю офицерам. Одни улыбались, другие смеялись до слез, третьи молча и неодобрительно качали головами.

И вот... Прошло десять лет... Но прежде чем сказать и свое слово, я должен рассказать вам еще кое-что...

Вы помните-ли вторую половину мая девятьсот шестнадцатого года? Я помню эти дни отлично, и не смогу, вероятно, забыть до конца жизни. После летнего погрома шестнадцатого года, когда в нашем полку к июлю (с мая!) осталось всего три офицера, — и все штабные, — и сорок восемь солдат, когда некоторые полки вообще исчезли, — всю осень и зиму мы формировались — и физически, и духовно! Ротами полк обростал довольно быстро и безболезненно, но дух был долго надломлен. И эта трещина тянулась с тыла. Ее трудно было замазывать, потому что усиленная живая связь с тылом не

прекращалась всю зиму и весну, до решительных майских дней.

И тут-то произошло чудо внезапного перерождения...

Двадцать второго мая по старому стилю, еще до рассвета серенького дня, бухнуло первое орудие,—сигнал к торжеству упоительной победы. Грохот орудий с обеих сторон не смолкал ни днем, ни ночью ни на один час все двадцать второе, двадцать третье и двадцать четвертое число. Дым, огонь, пыль и пороховая гарь покрыли на многие десятки верст полосу фронта непроницаемой завесой. Двадцать четвертого в девять утра— атака. В те дни я уже командовал ротой.

Я не помню как добрался, в густом дыму, с запорошенными глазами и с винтовкой в руках, до неприятельской линии и нетвердо помню, как эта линия оказалась сзади. Жидкая цепь моих и чужих солдат с хриплым криком нырнула ко второй линии, а оттуда лился дождь пуль...

Но вот и вторая линия позади. По пологому склону западных холмов быстро удалялись редкие кучки серых австрийцев, а среди нас густо и с остервенением рвались гранаты и прапнели...

К четырнадцати часам все было кончено: страшная зимняя позиция австро-германцев была прорвана, пройдена и закреплена. Победа была полная. Люди глядели друг другу с восторгом в глаза, в сияющие глаза на запыленных, черных лицах, невольно и непрестанно улыбались, точно вокруг был редкий и общий праздник. Это и было возрождение...

На следующий день—поход. Затем атака Луцка. Наша бригада была назначена во вторую линию атаки, и частью собралась в лесу. Перед штурмом я, в общем опьянении, успел прокричать перед строем роты короткое напутствие:

— Братцы! Пришло и наше время! Вспомните прошлый год в это время!... Никакой пощады врагу! Рота—от середины в цепь!.. Вперед! С Богом!..

Нас встретил, в поле, ураган огня. Но дух есть дух, его не пробьешь никакими снарядами.

Когда наши свежие волны прощлись по полю, усланному стоном второй бригады, и достигли немецкой проволоки, страшный барабанный гул огня вдруг стал опадать, а затем захлебнулся. Рота рвалась через заграждения. Взорвался черно—огненный фугас. Рота на бруствере. В окопе—несколько австрийцев с поднятыми руками,—грязными, страшными руками, точно тянутся оне к бритве за последним спасением...

Мой разведчик Кириченко крикнул рядом:

— Вылазь! Сукины сыны!

Один ловко прыгнул из окопа на другой, и в ту же секунду Кириченко схватил лопаткой, и, крикнув, ударил австрийца по голове; он вздрогнул, качнулся и свалившейся шапкой, но удержался на ногах. Его левое ухо повисло на краюшечке мочки, значительно блее лица. Кровь текла медленной широкой струей на мундир, по левому глазу и щеке. Кириченко рычал:

— В плен, сволочь? А наших брал в прошлый год?!

И снова замахнулся.

Я схватил его за руку:

— Стой! Ты что? обалдел?

Я бессознательно сжимал все сильнее запястье солдата, а он недоуменно глядел на меня, трепеща ноздрями. Я поглядел его взгляд... Мне стало стыдно до того, что не только запылало лицо и шея, но я чувствовал жгучий стыд по всему телу. Мой взгляд на мгновение встретился с затухающими глазами австрийца...

Луцк взят. Войска невиданно щедро награждались. На смотре, под городом, старик корпусный командир упал перед фронтом на колени и заплакал:

— Чудобогатыри!.. Чудобогатыри!..

Мы двигались дальше. Победы и победы. Уже теряется счет селам и городам, взятым за первые две недели... Наши хохлы плачут от радости, угощают скудными явствами, целуют нас... старый и белый, как лунь, дед в Корытнице обнимает командира полка у своей хаты:

— Христос Воскрес, пане! Христос Воскрес!..

И снова неповторимая радость победы: тут же, у Корытницы, в беспримерном штыковом бою наша бригада разбивает в брызги части германского гвардейского корпуса, брошенного на выручку изпод Вердена. Снова похвалы, награды, из сердца рвущееся «ура!» и благодарственные молебны..

Победы, как неудержимая река, разливаются к югу, — к Лечицкому, к Щербачеву; уже приходит в себя наш позорный тыл, и враги внутренние смущены...

Но меня не трогало ничто. Передо мной, при всяком напоминании о победе, маячил австриец с висящим на кожеце разбитым ухом; в его глазах застыло навсегда мгновенье, — не испуг, не страх, не боль были в этих глазах, нет! — в их бездонной глубине вихрем неслись серые ленты несметные тысячи людей — раненых, окровавленных, без рук или ног, с развороченными животами и гирляндой раненостей, слепых, безголовых, с разбитыми головами в руках... В этом море стона, злобы и крови мелькала каменная фигура седобородого еврея из Галиции и белое мертвое лицо счастливого

и веселого казака; смеющегося страшным недвижимым оскалом офицера из штаба дивизии и раздробленный позвоночник молодца-Кириченко... И со страшной тревогой порой я искал в этом бездоньи... свою, свою тень — без чего? Как?!

Но, видимо, не пришел час.

Только через полгода — контузия в голову и плен...

Два длинных года голода, неутолимой жажды свободы, унижений и непередаваемой тоски: Россия валится в пропасть... Все погибло. Все что было — ни к чему!

За третьим разом лишь мне удастся не только бежать из лагеря, из-под отвратительного немецкого сапога, но и убежать вне его досягаемости.

Побег был без фантастики, прост и удачен. В ту же ночь, когда я с товарищем покинули свои холодные барачные койки, к зимнему рассвету мы уже были в Чехии, на самой границе возродившегося славянского государства.

Словоохотливый чех, говорящий кое-как по-русски, — побывавший в плену на Волге, — принял нас, как родных братьев, — накормил, напоил и спать уложил. Пока встало солнце, мы успели отдохнуть. Мы рвались поскорее на железную дорогу. Но хозяин нас не отпускал. На столе снова душистый картофель с жареным салом, кофе с молоком и сахаром и таинственная небольшая бутылка.

Когда я рассказывал хозяину и его жене, как мы ловко обманули немца-часового, и улизнули из лагеря прямо под его сторожевой вышкой, чех хохотал так громко, так откидывался на стуле, что ушастая сибирская шапка свалилась с головы и разметала жидкие волосы.

Мгновенно его лицо мне стало страшно, жутко знакомо. Он повторял мои слова об обманутом немце и, раскачиваясь, смеялся, и по-братски трепал мою руку. Мне стало нехорошо, закружилась голова; я заторопил товарища; мы быстро попрощались и вышли, почти бежали...

— Он, он — шептал я в судорожной дрожи, — это он, его глаза!..

Товарищ допытывался, в чем дело, что случилось, но я не мог говорить связно, и повторял лишь одно:

— Ухо, ухо... Нет уха!.. Это тот, с бездонными глазами...

— Ну, нет уха, одна мочка осталась, и шрам на черепе... Но тебе то какое дело? При чем тут бездонные глаза? Да у него обыкновенные, простые глаза! Ты что? — обалдел? Просто свинство. Бежали из дому, точно украли что... Чудишь ты, Гриша...

Я забился в самый темный угол и без того темного вагона. Поезд шел мед-

ленно, часто останавливался в снежных пустых полях, настойчиво звал кого-то, и снова, словно ощупью, продвигался на Восток...

Лишь на следующий день, в пути, я рассказал своему товарищу все, объяснил, как мог, свои страдания. Силился объяснить и ту мысль, которая, начиная с атаки Луцка, пронзила на всю жизнь, а в плену выросла в нерушимый закон, мысль, которую вы, господа, наверное, поняли и теперь, после тяжких десяти лет изгнания, сами исповедуете. Но мой славный

Витя скучно слушал мой рассказ, и, наконец, перебил меня:

— Слушай, Гриша! Братство, ненависть ко злу и прочие вещи—очень-очень хорошо... И я тебя понимаю... Но, видишь ли, какая штука?.. Для меня... я... Я—на свободе! Я снова в жизнь!!—Вот мой идеал!

Витя подошел к разбитому окну вагона, и зыкнул по звериному в морозный воздух:

— Свобода! Я здесь!!